

Город – есть. Многолюдного мира в нём – нет. Девятый год, как убывает здесь жизнь, сочится нескончаемыми дозами горького сожаления о неприятии любого оправдания драмы кровавого смертоубийства.

И хорошо просматриваются в искалеченной затянувшимся кровопролитием данности ряды привокзального базара, в нескольких шагах от троллейбусной остановки. Изобилие овощного-фруктового-мясного разнообразия на базаре – красиво облагороженная опытными продавцами товарная многокрасочность щедро-ласкового на солнечное тепло юга. Да кто оценит, если люди из центра предпочитают сейчас сюда не ездить. Тем более, что и трамвай, что подбирал горожан ещё на центральных остановках, перестал на вокзал ходить – после одного из обстрелов значительно повреждены на одном из участков его движения трамвайные рельсы. Ими насквозь и на несколько километров прорезается особняком от вокзала стоящий жилой массив, рационально когда-то точно выстроенный из безразлично-угрюмо теперь глядящих друг на друга, грязно посеревших в туманно-зловонных парах заводских и шахтных выбросов панельных многоэтажек.

Окрестные подземные выработки – в состоявшемся разрушительном бездействии затоплены. Заводы не работают. Люди, убого прозябающие в нищезной и голодной безработице – лишь часть из тех, кто когда-то здесь жили. Многие, блокадные старожилы, остались ещё с тех времён, когда Донецкая блокада только начиналась, и когда с лёгкостью долетали сюда тогда смерть с собой нёсшие обстрельные снаряды. Ничего не изменилось. Воздух гремит здесь круглосуточными разрывами и сегодня. Ближе к руинно изничтоженному аэропорту – громыхает безбожно. Там – конец здравомыслия. Там – временная неподвижность. Там – безбожно режущий слух пронзительный диссонанс Донецкого апокалипсиса, жутко в последние месяцы захлеставший кровопролитным насилием из щелей долготерпения.

Да по коже – шило, а по жизни – рыло. Именно так: приговорённым терпеть – облегчение сознанию, что со всем свыкнешься. А неудобства, например, вода по жёсткому расписанию с каждым днём всё более обостряющейся проблемы водоснабжения Донецка – скоро и того меньше, или, урезанный, до нескольких единиц на маршрутах, городской социальный транспорт, так это нормы всё более ужесточающихся пайковых испытаний из уже осточертевшей блокадной жизни, по-военному, по-новому. С многочасовыми, тупо-безжалостно потрошущими наизнанку город канонадами. Всё заметнее оседает он прахом на исколошмаченную разрывами снарядов землю. Зачем же оплетать отмороженной лестью торжествующее удальством чёрное лукавство, если пишется здесь каждый день список жертв, людей, безвинно-случайно погибающих в разных районах города.

Страдающих в разрушениях – не счесть.

А подземный переход от привокзальной площади до площадки за зданием вокзала, где ютится небольшая автостанция, условно определяемая табличками движения нескольких автобусных маршрутов, мгновенно, едва в него спускаешься, обдаёт холодом бытовой запущенности. Многолетняя пыль – весьма затвердевшая на стенных, обесцветившихся гранитных плитах длинного перехода, мощно поглощает свет, что прорывается сюда из боковых выходов на перроны давно не работающего железнодорожного вокзала.

Много поездов дальнего следования отправлялось отсюда во все концы страны. И прибывало сюда оттуда же. Теперешнее вокзальное запустение разбавлено вечно струящейся откуда-то сверху, в подземном переходе, водой. Здесь она стала привычной атрибутикой блокадного лихолетья. Но, по-прежнему, где-то в середине перехода будут стоять поюще-неунывающие, изрядно износившегося внешнего вида музыканты, истошно наполняющие словами известных песен неряшливую пустоту перехода. Футляры от скрипки или от гитары, у их ног, едва полны разбросанной на плюшевых лоскутках мелочью. Люди идут по переходу ускоренным шагом, почти бегут. Спешат к автобусам, что повезут их дальше, в гущу ещё больше углубившейся круглосуточными обстрелами бездны.

Что удивительно, наблюдая за происходящим довольно быстро удаётся подстроиться под ритм местного вокзального времени. Оно то ускоряется – пробежка по подземке, то неожидан-

но замедляется – выход по мокрым ступенькам на автобусный перрон, позади здания вокзала. Так раньше называлась площадка, где тормозились окраинные автобусы. Из многих, годами стабильно действовавших маршрутов осталось несколько. Это – важно. Потому что очень активно, современно и красиво разрастался город в предвоенные годы. И, как оказалось, фантом былой спокойной жизни, беспризорным призраком блуждающий по израненному Донецкому привокзалью оказался для окраинных людей надёжным маяком – люди, некоторые, в основном, старики продолжают здесь жить.

Кажется, никто ни о чём не думает. Жители-фронтовики – совсем близка в этом Донецком районе не размытая военным долголетием граница смены идейных ориентиров, возвращающиеся домой с покупками – пакеты, набитые продуктами на их коленях – неподвижно пригрелись на ярком солнце, что беззаботно заполнило собой приукрашенную маленькими, издыхающими без воды клумбами территорию заднего привокзалья. Люди просто сидят на стареньких пластмассовых сидюшках, для удобства пассажиров когда-то здесь, 2012 год – Европейский чемпионат по футболу, установленных. Надёжно впаянные в асфальт малогабаритные стульцы – спинки у некоторых насквозь чем-то проломлены – нижней металлической основой выравнены в один длинный ряд, почти вплоты к сплошь остеклённому зданию, с голубизной в стёклах, во всю его многоэтажную высоту. Непонятно, что же здесь было раньше. Сейчас – бесшумное пыльное, никчёмно возвышающееся над завокзальным безжизненным запустение.

– А что, на кладбище теперь никак не доехать?

– Чего никак. Вон машины стоят... Иди туда.

Две машины, всё те же, старенькие, живучие, как жилистый местный люд, «Жигули» смиренно притихли у остановки автобуса. Ещё издали замечаю одного из водителей. Знатный курец, отмечала про себя не раз, он и сейчас коротает своё проигрышно-простойное время, пуская сигаретный дым из открытого окна своей машины.

– На Иверское? – Словами, как из известного пароля, громко прерываю его вынужденное безделье.

– Можно. – Он ещё раз глубоко затягивается и ловко отшвыривает недокуренный окурочек в рядом стоящую с машиной урну. К слову – заботливо кем-то опустошённую.

Пока усаживаюсь в машину, замечаю старушку, мерными, шаркающими шагами приближающуюся к нам. За ней уверенно следует средних лет мужчина. Оказавшись случайными попутчиками и вынужденно-удобно разместившись в машине, мы интересуемся у водителя ценой поездки, длиной в пять-семь минут автохода. Озвученная сумма – 200 рублей – озадачивает нескромной широтой его обострённо-алчного пожелания заработать.

Между тем делёжка денег, у каждого из пассажиров машины в руках – по сотке, затягивается. Однако кустарно-матово перекрашенный в неопределённый цвет жигулёнок, поднабравшийся на стоянке сил, уже резво мчит нас по знакомой дороге, сотрясаясь металлическим дребезжанием всякий раз, как бесстрашно выскакивает из многочисленных дорожных колдобин. Ну просто вдрыбыдан испоганена эта дорога многолетними глубокими выбоинами. Что особо и не беспокоит водителя. Крепко вцепившись обеими руками в руль, он прислушивается к нашему, в основном, с мужчиной, разговору... И, только когда уже подъезжаем к воротам кладбища, лихо останавливает машину – тормоза у неё отменные! – и с долго сдерживаемым раздражением подаёт свой голос, не обращая ни к кому из нас конкретно:

- Вы отдайте мне двести рублей, а потом идите и делитесь.
- А как отдать, если ни у кого нет мелочи?

Но выход из создавшейся ситуации разрешился с помощью мелочи, которую удалось наскрести в боковом кармане сумки.

- Вы же за нами приедете? – Тут же спрашиваю у водителя.

По крайней мере, так здесь, на этом отрезке бессмысленного Донецкого обетования было заведено: с водителем всегда можно договориться. Оставлял он своим пассажирам номер телефона, по которому с ним можно было связаться. По звонку клиентов он и приезжал. Но в этот раз:

- Сами дойдёте.

Измочаленный барышными извозами «мустанг» тут же обиженно оскалился чёрным дымом из нелепо торчащей задней выхлопной трубы, пока резко разворачивался, и, норовисто разогнавшись, прямо укатил восвояси.

- Что он сказал? – Заволновалась бабушка.
- Сказал, что не приедет.
- А как же тогда назад добираться?

– Да что-нибудь придумаем. – А что, про себя, добавила, топая отсюда порядочно до вокзала придётся. Можно и поднажиться, и вызвать такси. Но они сюда – не ходют, дорогой

Владимир Семёнович. Такой здесь не фартовый интерес для них, те же двести р., слишком мизерный.

Мужчина, в руках которого было ведро с лопатой, грабли, пластмассовая баклажка воды, не омрачаясь подробностями сложившейся ситуации, сразу предупредил:

– Я буду долго работать. Надо почистить могилы. Давно здесь не был...

– Да и с богом. Ну а мы с вами договоримся, где и как встретимся. – Обратилась я к старушке.

Не пытаясь догнать быстро покинувшего наше с бабушкой общество мужчину, мы медленно с ней пошли по кладбищенской дорожке. Не торопились. И уж совсем вяло реагировали, когда по кладбищу гулкой звуковой волной, то там, то здесь, тревожно прокатывалось объёмно целостное эхо от разрыва очередного снаряда. Муторно шуршащим отзвуком заземлялось каждое над осквернёнными многолетними обстрелами могилами. Из разрушенных ещё в четырнадцатом году – мало какие были восстановлены. Некоторые, по-прежнему, вынужденно покинутые родными, полностью покрылись непроходимо диким, ароматно-сочно дышащим плетением из беспорядочно здесь расплодившихся степных сорняковых трав. В лёгких порывах игриво-мягкого весеннего ветерка с истинным наслаждением вкушался обонянием особый, медово-горьковатый флёр Донбасского степного приволья. Пышным сорняковым нашествием оно безжалостно уже перелопатило, на свой босяцкий лад, правила годами выстраиваемой здесь упорядоченной человеческой жизни: да живи каждый презренный смерд словами притчи Иисуса об игольном ушке. Жаждой познания истины ежедневно, по много раз на день осенняя свой упрямый стоеросовый лоб. Там же, в той притче, – и верблюд. Там же – и богач, с массивным крестом на шее... Да всё равно, по слабости своей, духовной, никогда человек не приблизится к бескорыстной святости Божией.

И противоестественно было заметить, как жадно укоренившиеся на кладбищенской земле крепкие молодые деревья восемь лет никем не укрощаемой вольной и здоровой природной силой намертво вцепились в бесхозно чернозёмное плодородие кладбищенской земли... Рубать-перерубать корневища подземной блокадной вольности – обзавестись кровавыми мозолями запоздавшего покаяния на своих руках перед фатально упокоенными здесь в разных годах мирного летоисчисления родны-

ми. Да час душу изматывающей кручины, за своё бессилие – кому интересно, что подневольное? – перед происходящим, пригвоздит однажды всех за это к ответу.

– А вы к кому приехали?.. – Задаю вопрос старушке.

– К мужу...

– Давно похоронили?..

– Давно... Восемь лет будет этим летом...

– Получается, в четырнадцатом году?!

– Получается так... в самом начале четырнадцатого... – Старушка, наблюдаю за ней, по сторонам не оглядывается. Только всё чаще вытягивает из рукава кофточкой носовой платочек, аккуратно обвязанный вручную по краям беленькой ажурной тесёмочкой. Не спеша протирая платочком лицо, она тихо посапывает – уморилась от жары. А послеполуденное солнце, сбросив с себя утреннюю шаль рассветной прохлады, уже давно ещё больше повеселело на безоблачном небе.

– А почему же одна приехали?.. Дети, внуки...

– Да одна я и есть... Никого здесь у меня теперь нет... – Бабушка, сморщившись, опустила голову. Вытянув вперёд упрямой трубочкой свои губы, она замедлила шаг.

Не сговариваясь, мы остановились. Старушка сосредоточенно-набожно перекрестилась, повернувшись лицом к храму Иверской иконы Божьей Матери – как раз напротив хорошо видного, возрождающегося в муках расстрельной кладбищенской жизни, золотом душевного оберега возвышающимся над кладбищенской округой.

– А получится у нас в храм зайти?.. – Бабушка, с надеждой в широко открытых глазах, посмотрела на меня.

– А давайте мы с вами встретимся на этом самом месте минут через тридцать-сорок и вместе решим, что делать дальше. Понимаете, я уже пришла к своим... Тоже заждались... мои родные...

– А мне ещё надо идти...

Сверив время, я – по телефону, она, закатав правый рукав своей кофточки, – по большим мужским часам, что на красивом кожаным ремешке плотно прилегали к её запястью, мы с ней, не прощаясь, разошлись. Глядя ей вослед, я заметила, что шла она уже живее, не обращая внимания на оглушительную череду совсем близких разрывов снарядов.

Хотя, по большому счёту, очень опасным местом стало это Донецкое кладбище. Методично-жестоко нынче круглосуточно обстреливаемое со всех сторон. Очевидно снаряды всё-таки здесь не приземлялись. Рассчитанные на дальний полёт они,

с ненасытностью вечно голодного зверья, стремительно пролетали над осквернённым войной пристанищем мёртвых и терзали разрывами жилые окраины города, хищно, однако, добираясь и до центра. Всей мудрости мира будет недостаточно, чтобы понять, какими силами подпитываются люди, там скорбно выживающие.

Время быстро истекает. Вокруг – пустынно. Как выбираться отсюда? Сама бы, ноги в руки, и дошла бы до вокзала. Но бабушка... старушка... Нечестно будет её оставить.

Резко оглядываюсь, услышав мягкий звук тормозов. Совсем рядом останавливается машина. Из неё выходит мужчина, приветливо, с легко узнаваемым кавказским акцентом со мной здоровается. Открывает заднюю дверь и достаёт из машины букет кремовых роз. Быстрыми шагами он пересекает центральную кладбищенскую дорогу, обходит на другой стороне несколько могил и, с неторопливостью красивого достоинства, осторожно кладёт свой кремово-розовый букет к подножию памятника. Какое-то время он стоит у гранитной пластины, неотрывно смотрит на неё, по-мужски, с несгибаемой спиной преклоняет перед ней правое колено и целует гранитную плиту. Быстро встаёт и уверенно, в несколько широких шагов по ярко-зелёно колосающемуся дикостью многотравью, возвращается.

Замечая моё вопросительно-пристальное к нему внимание он вежливо говорит:

– Если желаете, я могу вас подвезти. Всё равно в город еду.

– Конечно, желаю! – Я действительно обрадовалась. – Но я не одна. Бабушка, старенькая, сейчас сюда подойдёт.

Мужчина смотрит на часы:

– Я тороплюсь. Сегодня годовщина смерти моей матери. Вот... проведаль... спешу домой, к родным... будем поминать...

Умоляю его немного, совсем немного подождать. Выбегаю на центральную дорожку и, к счастью, замечаю старушку. Она уже к нам приближается. И, очевидно, заметив машину, понимает, что надо спешить. Едва остановившись, с мольбой в глазах спрашивает:

– В храм пойдём?..

– Не только не получится, но даже и думать об этом невозможно. Надо возвращаться. Этот человек – указываю ей глазами на мужчину, стоящего у машины – подвезёт нас до вокзала.

– За двести рублей? – Щепетильность старушки – удручающе проста.

– Да что вы! Какие деньги! – Мужчина уже открывает двери машины и широким гостеприимным жестом приглашает нас.

Пока машина разворачивается, думаю о превратности судьбы. Господь не допустил нас с бабушкой в храм, но представил никак не ожидавшуюся возможность, не давая много времени на раздумье, уехать с беспокойного кладбища.

Незнакомец ведёт машину осторожно, замедленно объезжая дорожные дыры. Сижу опять на заднем сиденье, вспоминаю, что пришлось проходить мимо той могилы, у которой преклонил своё колено мужчина, когда в первый раз с ужасом лицезрела кладбищенские разрушения. Запомнилась она мне тем, что практически никак не пострадала за годы обстрела кладбища. Я называю вслух фамилию похороненной там женщины, и мужчина подтверждает, что она – действительно, его мать.

Старушка, сидящая рядом с мужчиной, тихо всхлипывает.

– А у вас как, цела могилка мужа? – спрашиваю её.

– Где там цела... памятник не успела тогда, в четырнадцатом году, поставить, рано было, потом пять лет не приходила, кладбище было закрыто, говорили, что мин неразорвавшихся в земле много. И теперь не советуют памятник ставить... Да и не смогу я это сама сделать... Сыновья мои отсюда уехали... Сама я, как перст, здесь осталась... В прошлом году наняла работника, чтобы вырубать деревья с могилы деда, а в этом году там – всё сплошь одни сорняки. Теперь не знаю, приеду ли когда сюда ещё раз.

– Приедете, – ободряет её мужчина. – И сыновья ваши вернутся.

– Да как же вернутся, если закрыта дорога отсюда и туда... Два года не могла взять разрешения, чтобы выехать, наконец, отсюда и съездить с ними повидаться, внуков увидеть... И до этого два года не виделась. И что за разрешение, объясните мне?!, если коммерческим путём ехать, где втридорога с тебя сдерут, так, пожалуйста... А теперь и по телефону не поговоришь. Всеми силами ада от моих детей отрезана. А я хочу только знать, как они там, мои родные... Душа моя, что решето сейчас... день и ночь кропится моим горем... За что? Страшно мне становится жить. Уехала бы навсегда отсюда, всё мне не в радость стало... дети зовут к себе, знаю, не обидят, да могила дедова здесь... до которой и не дойти моими немощными ногами. Да за квартирами сыновей надо присматривать... Господи! Как же мучаюсь я со всем этим... Иной раз дверь в своей квартире не закрываю на ночь на замок... Вдруг со мной что случится. Пью снотворное... Не могу без него заснуть. Соседи? А что соседи. Такие же,



как и я. Кто ноги еле свои переставляет, кто тихим бодрячком на ладан дышит. Шевелимся каждый день, как клячи недобитые, никому здесь не нужные, всем в тягость...

– Опоздавшие умереть... – Говорю про себя.

– Помогаем помалу мы друг другу. – Старушка глубоко вздыхает. – С детьми встретиться со своими не можем... Ампутировали мне всю мою жизнь... без наркоза... Страшно, невозможно как...

– Печальная история у вас выходит... – Посочувствовала я бабушке, зная жизнь Донецкую изнутри, понимая, что ещё и не всё, ну совсем не всё она рассказала. Потому что в реальности живётся ей, как и всем одиноким здесь старикам, ещё ужасней.

– Печальная... – Тихо согласилась она. – Вот только и радуюсь, когда на часы вот эти смотрю – она показала часы, я их уже видела, на ремешке, на густо изборождённой твёрдыми голубыми венами на тыльной стороне её ладони – да ещё когда жемчужинки эти надеваю. – Повернувшись назад, старушка указала мне на нитку белого жемчуга на своей шее. – Эти подарки сыновья подарили нам с дедом на наш золотой юбилей. Незадолго до войны. Дед так рад был часам, что и спал с ними, не снимал с руки. И я стараюсь с жемчужинами не расставаться. Всё ближе мне так кажутся мои сыновья... и не так холодно телу...

Мелкой дрожью упорного, безоговорочно бескомпромиссного отрицания какой-то ничем не разрешающейся думы она, сильно закусив свои губы, затрясла взволнованно головой... И больше уже ничего не говорила до самого вокзала.